ЛЕВ СЛАВИН

ИЗБРАННОЕ

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Славин

Лев Славин

Багрицкий

С трудом воспроизвожу я свои чувства тех лет. Вообразите мальчика, который рос в разгаре первой мировой войны. Едва мы сформировались в юношей, нас бросили в котел войны. Тогда же мобилизовали ополченцев, сорокапятилетних бородачей. В казарме встретились старики и дети. Завязывались необыкновенные дружбы. Среди боев и муштры нас подобралось несколько человек, для которых литература была самой сильной страстью… Пришла революция. Смутное ощущение правды потянуло нас в Красную Армию. Снова бои. Мы были очень молоды. Жизненный опыт наш был иногда глубок, но всегда узок. Полузабытые школьные науки, революционный энтузиазм да умение владеть оружием – вот все, что я знал и умел и чувствовал в 1919 году. Прибавьте сюда неистребимое желание писать. Как? Никто из нас не знал.

Нас отвели в тыл для пополнения изрядно поредевших рядов. Это было в Одессе. Все время, свободное от караулов, учебных стрельб и комендантских вызовов, мы читали, пользуясь реквизированными у буржуев библиотеками. Особенно привлекали нас биографии писателей. Их жизни и личности казались легендарными.

Несмотря на свою молодость, я был помощником командира роты по строевой части. В число моих обязанностей входило распределение бойцов в наряды и караулы по городу.

И вот однажды передо мной предстал красноармеец не совсем обычного вида, этакое худосочное и даже лысоватое существо в очках, явно выделявшееся на фоне крестьянских парней, составлявших большинство нового набора. Я сразу понял, что он пришел ко мне, чтобы как-нибудь отпроситься от назначения в наряд, и я заранее решил сурово ему отказать. Никаких поблажек интеллигентам! Полное равенство!

Но у него был наготове хитроумный ход. Он сообщил мне (очевидно, прослышав о моем интересе к литературе), что он поэт. И действительно, в руках у него была толстая тетрадь, переплетенная в обойную бумагу. На ней было написано:

ВЕНОК СОНЕТОВ

Но я был тверд и непоколебим. Молодая Революция была принципиальна и бескомпромиссна. Я не поддал-ся даже и тогда, когда он прочел мне тонким завывающим голосом два-три сонета. И я уже готов был отправить его в караул на склад кожтоваров, когда он выложил мне свою последнюю карту, козырную: он предложил познакомить меня с Эдуардом Багрицким.

И тут я дрогнул. И мы с ним пошли на Ремесленную улицу в тесную, бедную квартирку, где жил Багрицкий вдвоем со своей матерью.

Я увидел человека худого и лохматого, с длинными конечностями, с головой, склоненной набок, похожего на большую сильную птицу. Круглые серые, зоркие, почти всегда веселые глаза, орлиный нос и общая голенастость фигуры усиливали это сходство.

Сюда надо прибавить излюбленный жест Багрицком го, которым он обычно сопровождал чтение стихов: он вытягивал руку вперед, широко расставив пальцы и упираясь ими в стол. Его кисть, крупная, с длинными и сильными пальцами, напоминала орлиную лапу.

Он косо глянул на меня из-под толстой русой пряди, свисавшей на невысокий лоб, и сказал хрипло и в нос:

– Стихи любите?

Он был полуодет, сидел, скрестив ноги по-турецки, и держал перед собой блюдце с дымящейся травкой. Он вдыхал дым.

Мы застали Багрицкого в припадке астмы. Болезнь, впоследствии убившая его, была тогда несильной. Она не мешала ему разговаривать и даже читать стихи.

Читал он хрипловатым и все же прекрасным низким голосом, чуть в нос. Длинное горло его надувалось, как у поющей птицы. При этом все тело Багрицкого ходило в такт стихам, как если бы ритм их был материальной силой, сидевшей внутри Багрицкого и сотрясавшей его, как пущенный мотор сотрясает тело машины.

Он прочел своего «Тиля Уленшпигеля», потом «Харчевню» и еще много стихов. В них действовали люди и звери, жадные, сильные, полные веселья и удали.

Есть натуры закрытые, которые узнаешь исподволь, Багрицкий был, наоборот, человеком, распахнутым настежь, и немного мне понадобилось времени, чтобы увидеть, что эта зоркость и сила Багрицкого и словно постоянная готовность к большому полету были точным физическим отражением его душевных качеств. Это ощущение осталось у меня на всю жизнь.

Впоследствии болезнь исказила пропорции его лица и тела. Но хоть он с годами оплыл и потучнел, по-прежнему до самого

конца исходило от него обаяние доброй и зоркой силы большого человека.

Он был воздержан в пище. Почти не курил. Не пил. И вообще не обладал ни одной из тех фламандских страстей, которыми он так охотно наделял своих героев.

Он был путешественником в мечтаниях. Он был обжорой, атлетом, пьяницей, гулякой, ловеласом и удальцом в мечтаниях.

Я знал, что раньше он совершил путешествие в Персию. Еще совсем недавно он работал в политотделе фронта. Теперь все страсти его ушли в стихи.

Я долго сидел в тот вечер у Багрицкого. Я влюбился в него. Это случалось почти со всеми. Багрицкий обладал поразительным даром привлекать сердца. Он и сам мгновенно прилеплялся к людям. Было что-то женственное в *его* привязчивости к людям, в его стремлении очаровать их и в легкости, с какой он забывал иных.

Писатель не существует в отрыве от той земли, на которой он вырос, и от тех людей, которые его окружали. Потому-то Багрицкий и назвал свою первую книгу, которая сразу принесла ему славу: «Юго-Запад». Я помню молодого Багрицкого в «Коллективе поэтов» в окружении таких же молодых, как он.

Я тут же оговорюсь, что Багрицкий и все его сверстники никогда не были тем, что мы сейчас называем: «молодой писатель». Мы никогда не ходили в рубище «начинающих». Мы не требовали скидок на молодость. У нас не было «старших товарищей», которые вводили бы нас за руку в литературу. Вернее, старшие товарищи Багрицкого – это Державин, Пушкин, Каролина Павлова, Случевский, Лесков, Рабле, Маяковский. Хорошо сказала об этой поре одна из участниц одесской группы Зинаида Шишова:

«У нас слова не шатались. Они были плотно пригнаны и не страдали от перевозок»

Багрицкий вырос в весьма прозаической обстановке. То были низы городского мещанства. Поэзия в этих местах и не ночевала. Не возникало там и социального возмущения. Это была нищета, пропахшая мещанским духом, нищета покорная и завистливая. Она видела только одно средство ликвидировать свою экономическую сословную, национальную униженность – разбогатеть! Любым способом – выиграть, получить наследство, удачно спекульнуть, украсть!

Талант Багрицкого на первых порах формировался на чувстве отталкивания от этого удушливого обывательского окружения. Когда пришла Октябрьская революция, Багрицкий встретил ее восторженно, потому что она звала на последний бой с этим

духом наживы и при«носила с собой такие высокие романтические идеалы, что на них тотчас радостно отозвалось все то мужественное и пламенное, что всегда жило в натуре Багрицкого.

Он до конца пронес это светлое юношеское чувство. Тема борьбы мещанина и поэта все время повторялась в его поэзии. Да не только в поэзии.

Помню, уже в последние годы своей жизни он с презрением отзывался об одном человеке, которого он считал классическим собранием всего пошлого, стяжательского. Он говорил, пародируя стиль научной лекции:

– Можно считать вполне доказательным, что гипертрофированное увлечение материальными благами является главным интересом и основным содержанием жизни не только, как это принято считать, у работников торговой сети, но и у некоторых работников литературной сети.

Когда кто-то более снисходительный заметил, что это прискорбные, но, увы, до поры до времени неизбежные пережитки капитализма в сознании, Багрицкий вскипел:

– Почему в сознании? В барахле! С сознанием у него как раз все в порядке. Меньше чем на мировую революцию он не согласен. Но вы посмотрите на его коллекцию золотых часов!

Есть много рассказов о Багрицком, о том, каким был, этот яркий, особенный человек. Мне представляется уместным сказать также несколько слов и о том, каким он не был. Потому что на личности его и на жизни его на-450

липло много недостоверного, неверного, анекдотического, искажающего его облик.

Некоторые рисуют его мягким и уступчивым, не понимая, что порой он соглашался и уступал просто от скуки, не видя другого способа избавиться от несносного собеседника.

Другие называют Багрицкого скрытным, не понимая – быть может, на основе своего личного опыта, – что ему не хотелось раскрываться перед кем попало.

В чем он действительно был скрытен – это во всем, что касалось его болезни. Он никогда не жаловался на свою астму. А если и говорил о ней, то только в подтрунивающем тоне. Даже ближайшие друзья не подозревали, как тяжко он болен. Багрицкий не способен был сделать свое личное несчастье темой своих произведений. Этого не позволила бы свойственная ему целомудренность чувств.

Об этой целомудренности не догадывались люди, воображавшие Багрицкого чудаком, богемой, циником. Они были обмануты его ошеломительным остроумием, эксцентрической

манерой выражаться. В сущности, он был скромным и застенчивым человеком, о чем, впрочем, догадывались немногие.

Но, конечно, нельзя изображать Багрицкого этаким идейным монолитом. Приемы иконописной живописи не годятся для изображения этого страстного, иногда противоречивого человека. В тридцатых годах он вступил в РАПП. И он же был первым человеком, который позвонил мне и сообщил задыхающимся от восторга голосом, что РАПП распущен.

Более тридцати лет назад Багрицкий писал в одной из своих немногих статей:

«Сейчас вырабатывается новый тип поэта, поэта-ученого, поэта-общественника. Наша общественность должна прийти на помощь для выработки такого типа. Она должна как можно теснее связать поэта с производством, направлять его в экспедиции, вводить в клиники и лаборатории. Мы, поэты, должны биться за первенство своего искусства. Мы должны в корне перестроить мнение о поэте-богемце. От нас должна начаться новая традиция».

Я сказал бы, что эти мысли Багрицкого звучат вполне современно и сегодня.

Он был похож на свой родной город, у которого тоже есть репутация легкомысленности и который во время войны стал городом-героем.

Во время обороны города одесситы прокатили по улицам отбитую у фашистов пушку, на стволе которой они сделали надпись:

«Она стреляла по Одессе. Больше стрелять НЕ будет».

Такую надпись мог бы сделать Багрицкий. Это его веселый и мужественный стиль.

Когда узнаешь, что защитники Одессы строили самодельные танки на базе тракторов ЧТЗ и сами прозвали эти танки: «н. и.», то есть «на испуг», то узнаешь и в этом веселый и мужественный дух Багрицкого.

Так называемый цинизм Багрицкого был ненатуральным. Это была как бы маска, надетая на нежность. Он появлялся обычно после или во время душевного раскрытия и как контраст к нему.

Однажды, растворив окно, Багрицкий принялся выпускать на волю птиц, которых он очень долго и тщательно собирал. Он сделал это потому, что любил птиц и чтобы осчастливить их, хотя ему, конечно, было жалко расставаться с ними. Птицы улетали не сразу, они цепенели на секунду – их охватывал какой-то шок радости – и вдруг, что-то прощебетав, исчезали.

– А что они щебечут, Эдуард Георгиевич? – осведомился мой спутник (тот самый красноармеец, который меня с ним

познакомил), малый чувствительный. – Они, наверно, поют вам благодарственные гимны?

– Они кроют меня по матери, – мрачно сказал Багрицкий.

Больше всего он боялся показаться сентиментальным. Есть мода не только на костюмы, но и на чувства. Поколение 1919 года, огрубевшее в войнах, стыдилось быть уличенным в нежности. Все стремились показать себя грубыми, решительными, циниками, хотя никогда, быть может, не было столько скрытых и явных примеров самопожертвования и нежности.

Сюда надо прибавить и то, что рефлексия, самокопание никогда не были в характере людей, населявших Одессу. У земляков Багрицкого отсутствовал вкус к абстракции. В Одессе никогда не было богоискателей, визионеров, религиозных философов. Под этим плотным, вечно синим небом жили чрезвычайно земные люди, которые, для того чтобы понять что-нибудь, должны были это ощупать, взять на зуб.

Заезжие мистики из северных губерний вызывали здесь смех. В Одессе никогда не увлекались Достоевским. Любили Толстого, но, без его философии. Здесь процветали в умах литературной молодежи Пушкин, Бальзак, Стивенсон, Чехов. Не Скрябин был властителем музыкальных дум в этом городе, имевшем репутацию музыкального, а Верди и Чайковский.

Некоторые склонны были считать оригинальничанием занятия Багрицкого рыбоводством и птицеводством. Он не был дилетантом. Он ни в чем не допускал любительщины и был настоящим, серьезным зоологом. «Любовь к соловьям – специальность моя», – писал он. Когда болезнь принудила его к неподвижности, он вынужден был оставить вылазки на природу и втащил природу к себе в квартиру.

Впоследствии он сменил птиц на рыб, я думаю, потому, что аквариум, в отличие от клетки с птицами, – это подлинный подводный мир, перенесенный в комнату со всей своей атмосферой.

В 1919 году в Одессе организовался «Коллектив поэтов». Еще не написана история этого учреждения, воспитавшего большинство писателей, происходящих из Одессы.

Истинным центром «Коллектива поэтов» был Багрицкий. Конечно, неофициальным, потому что никаких должностей и чинов в литературных организациях тогда еще не было, что, впрочем, не мешало процветанию литературы. От Багрицкого исходило непрерывное воодушевление. Будучи, как все талантливые люди, чрезвычайно щедрым, он разбрасывал темы, идеи, образы походя, в разговоре. Мышление его было поэтическим всегда, а не только когда он сидел с пером над

бумагой,

Каждый день происходили открытия. Багрицкий прибегал с книгой, возбужденный до исступления, и мы читали вслух, читали до утра. Так открыли Лескова, В другой раз – Вольтера. То, что было приобретено тогда, осталось на всю жизнь. Каждый находил свою манеру, находил себя.

Уже тогда Багрицкий стал тем, чем он был впоследствии в Москве: неофициальным литвузом, вольным университетом поэзии на дому.

Конечно, и он в пору созревания был подвержен различными влияниям. Я уверен, что глубже всего и плодотворнее всего на Багрицкого повлиял один из оригинальнейших и интереснейших наших поэтов, к сожалению, сейчас мало известный, почти забытый Владимир Нарбут. Необходимо вернуть народу этого сильного и глубоко советского поэта.

Человек огромной поэтической культуры, Багрицкий всю жизнь и сам учился. Хотя писать он начал рано и быстро достиг мастерства и известности (он стал широко, всесоюзно известен еще в середине двадцатых годов), талант его не переставал шириться, приобретать новую глубину и отточенность.

Он, несомненно, принадлежал к числу людей, длительно формирующихся. То, что мы принимали за зенит Багрицкого, было только началом его восхождения. Он долго пробивался сквозь огромную библиотеку поэзии, которую носил в своей голове, к самому себе, к своей неповторимости. Подобно крупному музыканту, который сохраняет в своей памяти безукоризненное знание обширнейшей музыкальный литературы, Багрицкий был блестящим знатоком поэзии, и не было такого русского поэта, от Ломоносова до Смелякова, стихов которого он не мог бы прочесть по памяти.

Багрицкий был всегда писателем политическим в самом прямом смысле этого слова – от первых агитационных листовок, которые он писал на фронтах гражданской войны. И тем, кто знал Багрицкого, было отрадно наблюдать, как он созревал, как к нему приходила мудрость, как от смутных революционно-романтических настроений он приходил к высокой сознательной идейности. Тем более недостойными выглядели жалкие попытки некоторых конъюнктурщиков запятнать репутацию славного поэта.

Если бы кто-нибудь задумал изобразить не поэта, а саму поэзию, лучшей модели, чем Багрицкий, он не нашел бы. Всю жизнь у меня было это ощущение, что Багрицкий – это живое

воплощение поэзии, ее ритма, ее пылкости, ее преувеличений.

Вся его недлинная жизнь, такая далекая от рутины, с его экзотическими рыбами и толпой молодых поэтов вокруг него, с его наружностью сильной благородной птицы, с его гиперболическими остротами и боевыми листовками, с его жизнерадостностью и трагическими поэмами, с его верностью друзьям и бескорыстием, весь его удивительный быт был поэзией.

Багрицкий был могучим работником. Он мог мгновенно сымпровизировать сонет на заданную тему, и он же месяцами работал над поисками слова, пока не находил образ, подобный, например, его знаменитому «щебечущему коню». Как рождались его замыслы?

Толстой рассказал, что написал «Хаджи-Мурата» после того, как увидел на вспаханном поле репей, раздавленный, но все еще живой, не сдающийся.

Суриков рассказал о картине «Боярыня Морозова»:

«Раз ворону на снегу видел. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила. Черным пятном на белом снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Закроешь глаза – ворона сидит… Потом «Боярыню Морозову» написал».

Конечно, и этому «репью», и этой «вороне» предшествовали, может быть, годы подсознательной работы мозга, А потом – внезапное, как взрыв, прояснение темы.

Вот как сам Багрицкий рассказывал о том, как он написал «Думу про Опанаса»:

«Опанас был написан из-за синкоп, врывавшихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк».

Да, это поэма о верности революции, о преданности родине. Но вы явственно слышите эти синкопы во второй и четвертой строках каждой строфы:

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною…

…Ходит ветер над возами
Широкий, бойцовский.
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский…

Смерть оборвала работу Багрицкого, когда он начинал

становиться одним из центров нашей поэзии. При этом не забудем, что он умер тридцати восьми лет, далеко не раскрыв все обещания своего огромного таланта.

О нашей молодости, об истоках, откуда пошла революция, Багрицкий написал поэму «Последняя ночь». Критик Дм. Мирский называет ее гениальной. Я остерегаюсь этого слова, которое не имеет степеней сравнения. Но вот Юрий Олеша писал о «Последней ночи»: «Эту гениальную поэму оставил Багрицкий как памятник своему поколению».

Если даже эти слова и верны, у меня всегда было ощущение, что сам Багрицкий больше своей поэзии.

Он мощно повлиял на всех молодых и даже не молодых писателей, соприкасавшихся с ним. Иногда даже не только непосредственным литературным влиянием своих произведений, но и самим собой, примером своей жизни, тонкостью своих вкусов, своими пристрастиями, суждениями, взглядами, стилем мышления, своей неслыханной страстью к поэзии, которая оказалась сильнее смерти.

1936